

«Язык книги – счастливое возвращение к тем временам, когда
вздрагиваешь от новизны восприятия мира и хочется перечитать
абзац, чтобы еще раз услышать мелодию хорошей прозы. Здесь
свои краски, свой ритм – то, что отличает настоящего художника
от изготовителя ширпотреба...»

«Московская правда»

ИРИНА



Муравьёва



Напряжение
счастья

Ирина Муравьева

Напряжение счастья (сборник)

«ЭКСМО»

2010

Муравьева И. Л.

Напряжение счастья (сборник) / И. Л. Муравьева — «Эксмо»,
2010

В книгу повестей и рассказов Ирины Муравьевой вошли как ранние, так и недавно созданные произведения. Все они – о любви. О любви к жизни, к близким, между мужчиной и женщиной, о любви как состоянии души. И о неутоленной потребности в этом чувстве тоже. Обделенность любовью делает человека беззащитным перед ужасами мира, сводит с ума. Автор с таким потрясающим мастерством фиксирует душевную вибрацию своих героев, что мы слышим биение их пульса. И, может быть, именно это и создает у читателя ощущение прямого и обжигающего прикосновения к каждому тексту.

© Муравьева И. Л., 2010

© Эксмо, 2010

Содержание

Напряжение счастья	5
Жена из Таиланда	10
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Ирина Муравьева

Напряжение счастья (сборник)

Напряжение счастья

Зима была снежная, вся в синем блеске, и пахла пронзительно хвоей. У елочных базаров стояли длинные очереди, и праздничность чувствовалась даже внутри того холода, которым дышали румяные люди. Они растирали ладонями щеки, стучали ногами. Младенцы в глубоких, тяжелых колясках сопели так сладко, что даже от мысли, что этим младенцам тепло на морозе, замерзшим родителям было отрадно.

Я была очень молода, очень доверчива и училась на первом курсе. Уже наступили каникулы, и восторг, переполнявший меня каждое Божие утро, когда я раскрывала глаза и видела в ослепшей от света форточке кусок несказанно далекого неба, запомнился мне потому, что больше ни разу – за всю мою жизнь – он не повторился. Минуты текли, как по соснам смола, но *времени* не было, *время* стояло, а вот когда *время бежит* – тогда грустно.

Ничто не тревожило, все веселило. Новогоднее платье было куплено на Неглинке, в большой, очень темной уборной, куда нужно было спуститься по скользкой ото льда лесенке, и там, в полутьме, где обычно дремала, согнувшись на стуле, лохматая ведьма, а рядом, в ведре, кисли ржавые тряпки, – о, там жизнь кипела! Простому человеку было не понять, отчего, с диким шумом Ниагарского водопада покинув кабинку, где пахло прокисшей клубникой и хлоркой, распаренные женщины не торопятся обратно к свету, а бродят во тьме, словно души умерших, и красят свои вороватые губы, и курят, и медлят, а ведьма со щеткой, проснувшись, шипит, как змея, но не гонит... Прижавшись бедром к незастегнутым сумкам, они стерегли свою новую жертву, читали сердца без очков и биноклей.

Мое сердце прочитывалось легко, как строчка из букваря: «мама мыла раму». Ко мне подходили немедленно, сразу. И так, как оса застывает в варенье, – так я застывала от сладких их взглядов. Никто никогда не грубил, не ругался. Никто не кричал так, как в универмаге: «Вы здесь не стояли! Руками не трогать!».

Ах, нет, все иначе.

– Сапожками интересуетесь, дама?

Я («дама»!) хотела бы платье. Ведь завтра тридцатое, а послезавтра...

– Да, есть одно платьице... Но я не знаю... Жених подарил... – И – слеза на реснице. Сверкает, как елочный шар, даже ярче. – Жених моряком был, служил на подводке... А платьице с другом своим передал... Ох, не знаю!

– А где же он сам?

– Где? Погиб он! Задание выполнил, сам не вернулся...

Не платье, а повесть, точнее, поэма. «Прости!» – со дна моря, «Прощай!» – со дна моря... Мне сразу становится стыдно и страшно.

– Ну, ладно! Была не была! Девчонка, смотрю, молодая, душевная. Пускай хоть она за меня погуляет! А парень-то есть?

– Парень? Нету.

– Ну, нету – так будет. От них, от мерзавцев, чем дальше, тем лучше! Пойдем-ка в кабинку, сама все увидишь.

Влезаем в кабинку, слипаясь щеками.

– Садись и гляди.

Сажусь. Достает из пакета. О чудо! Размер только маленький, но обойдется: уж как-нибудь влезу. (Погибший моряк, видно, спутал невесту с какой-нибудь хрупкой, прозрачной русалкой!).

– Ну, нравится?

– Очень. А можно примерить?

– Ты что, охренела? Какое «примерить»? Вчера вон облава была, не слыхала?

Мертвею.

– Облава?

– А то! Мент спустился: «А ну, все наружу! А ну, документы! «Березку» тут мне развели, понимаешь!» Достал одну дамочку аж с унитаза! Сидела, белье на себя примеряла. Ворвался, мерзавец! Ни дна ни покрывки!

Начинаю лихорадочно пересчитывать смятые бумажки. Бабуля дала шестьдесят. Плюс стипендия. Вчера я к тому же купила колготки.

– Простите, пожалуйста... Вот девяносто...

– Ведь как угадала! Копейка в копейку! Просила одна: «Уступи за сто сорок!». А я говорю: «Это не для продажи!». А ты – молодая, пугливая... В общем, не всякий польстится... И парня вон нету...

Сую всё, что есть, получаю пакет.

– Ты спрячь его, спрячь! Вот так, в сумочку. Глубже! Постой, дай я первая выйду. А ты посиди тут. Спусти потом воду.

Минут через пять поднимаюсь вверх. О, Господи: свет! Это – вечное чудо.

Тридцать первого у меня гости. Заморское платье скрипит при ходьбе. Налезло с трудом, но налезло. (Не знаю, как вылезу, время покажет!) Готовлю по книжке салат «оливье», читаю: «нарежьте два крупных яблока». Бегу в овощной на углу.

Продавщица сизыми, как сливы, толстыми пальцами ныряет в бочку с огурцами.

– А что же кривые-то, дочка?

– Прямые все съели!

– Да ты не сердись! Дашь попробовать, дочка? А то я вчера рано утром взяла, куснула один, так горчит, окаянный!

– «Горчит» ей! На то огурец, чтоб горчить! Не нравится, так не берите! «Горчит» ей!

– Да как «не берите»? Сватов пригласили!

– Пакет у вас есть? Он дырявый небось?

– Зачем же дырявый? Он новый, пакетик...

– Рассолу налить?

– Ой, спасибочки, дочка!

На яблоках – темные ямки гнильцы. Мороз наполняет мой бег звонким скрипом.

Дома напряжение счастья достигает такой силы, что я подхожу к окну, отдергиваю штору и прижимаюсь к стеклу. Все небо дрожит мелкой бисерной дрожью. Одиннадцать. Первый звонок. Три сугроба в дверях: подруга Тамара («Тамар» по-грузински!), любовник Тамары Зураб Бокучава, а третий – чужой, и глаза, как маслины, залитые скользким оливковым маслом.

– Зна-а-комтэс, Ирина. Вот это – Георгий. В Тбилиси живет.

– Ах, в Тбилиси! Тепло там, в Тбилиси?

– В Тбилиси вчера тоже снег был, но теплый!

У Томки с Зурабом – совет да любовь. Аборт за абортom. Зураб презирает метро, ездит только в такси. Пришлют ему денег, так он, не считая, – сейчас же на рынок. Накупит корзину чурчхелы, киндзы, телятины, творогу, меду, соленьев. Неделю едят, разругавшись. Вволю. Гостей приглашают. Те тоже едят. Хозяин квартиры – второй год в Зимбабве, хозяйские книжные полки редеют: Ги де Мопассана, Майн Рида, Гюго снесли в магазин «Букинист» и проели. Зимбабва воюет, не до Мопассана.

Промерзшие свертки – на стол.

– Ах, коньяк? Спасибо! А это? Хурма? Мандарины! Вы что, только с рынка?

– Зачем нам на рынок? Вот, Гия привез.

– Садитесь скорее, а то опоздаем! Пропустим, не дай Бог! Бокалы-то где?

Летаю, как ветер, не чувствую тела.

Звонит телефон. Беру трубку. Акцент. Но мягкий, чуть слышный.

– Ирина?

– Да, я.

– Я к ва-ам сейчас в гости иду. Где ваш корпус?

Зураб привстает:

– Это друг, Валэнтин. Хадили с ним в школу в Тбылиси. Нэ против?

– Ах, нет!

– Пайду тагда встречу. Мы с Гией пайдем.

– Зачем я пайду? А Ирине па-амочь?

– Ах, не беспокойтесь!

– А што там на кухнэ гарит? Што за дым?

– Какой еще дым?

– Нэ знаю, какой, но я нюхаю: дым. Хачу посмотрэть. Пайдем вмэстэ, па-асмотрим.

На кухне целует в плечо.

– Да вы что?

Вздыхает всей грудью, со стоном:

– А-а-ай!

Грудь (видно под белой рубашкой!) черна и вся меховая, до самого горла.

– Я как вас увидэл, так сразу влюбился!

Минут через десять Зураб приводит в дом остекленевшего от мороза, с нежнейшей бородкою, ангела. На ангеле – белые тапочки, шарф, пиджак, свитерок. Все засыпано снегом.

– А где же пальто?

– Я привык, мне тепло!

Зураб обнимает стеклянного друга:

– Какое тэпло? Ты савсэм идиёт! Тэбэ нада водки, а то ты па-а-дохнешь!

– Садитесь, садитесь!

Часы бьют двенадцать. Успели! Ура!

...сейчас закрываю глаза и смотрю. Вот елка, вот люди. Гирлянды, огни. И все молодые, и мне восемнадцать. А снег за окном все плывет, как река, как пена молочная: с неба на землю.

Помню, что разговор с самого начала был очень горячим, потому что в комнате соединились трое молодых мужчин и две женщины, которых накрыло волнением, как морем. Помню, что Гия громко, через весь стол, спрашивал у Зураба, сверкая на меня глазами:

– Ты можэш так здэлать, шытобы ана уезжала са-а мной в Тбылиси? Ты друг или кто ты?

Зураб отвечал по-грузински, закусывая полную, капризную нижнюю губу, привыкшую с детства к липучей чурчхеле. Потом очень сильно тошнило Тамар, и ей наливали горячего чаю. Потом танцевали, дышали смолой бенгальских огней вперемешку с еловой.

А утром согревшийся ангел раскрыл рюкзачок и вытащил груды страниц и тетрадей. Синявский, Буковский, «Воронежский цикл», «Стихи из романа Живаго», Флоренский...

– Я выйду на площадь! И самосожусь! – сказал грустный ангел. Мы все присмирели. – Для честных людей есть один только выход.

Я в ужасе представила себе, как он, в простых белых тапках, с куском «оливье», застрявшим в его золотистой бороде, худой, одинокий, из нашего теплого дома пойдет сквозь снег и мороз прямо к Лобному месту, а там... Мы будем здесь есть мандарины, а он сверкнет, как бенгальский огонь, и погибнет.

Никто с ним не спорил, но стали кричать, что лучше уехать, что это умнее.

– Куда ты уедешь? На чом ты уэдэш? – спрашивал Зураб, прихватив Гию за грудки.

А Гия, расстегнувший ворот нейлоновой рубашки, выкативший красные глаза и кашляющий от собственной шерсти, забившей широкое горло, кричал:

– Алэнэй любыл? Алэнатыну кушал?

– Зачэм мнэ алэни?

– Затем, – вдруг спокойно сказала Тамара, – что можно уйти вместе с северным стадом. Вода замерзает, олениводы перегоняют стада в Америку. Или в Канаду. Я точно не знаю. Но многие так уходили. Под брюхом оленя. И их не поймали.

Я увидела над собой черное небо, увидела стадо голодных оленей с гордыми величавыми головами и покорными, как у всех голодных животных, влажными глазами в заиндеветых ресницах, увидела равнодушного эскимоса в его многослойных сверкающих шкурах (из тех же оленей, но только убитых), почувала дикий неистовый холод, сковавший всю жизнь и внутри, и снаружи. И там – под оленьим, скрипящим от снега, худым животом – я увидела ангела. Вернее сказать: новогоднего гостя, но с мертвыми и восковыми ушами...

Тогда, в первые минуты этого робкого раннего утра, я не знала и догадаться не могла, что через несколько лет полного, избалованного Зураба посадят в тюрьму за скупку вынесенного со склада дерматина, которым он обивал двери соседских квартир (чтоб в доме всегда были фрукты, чурчхела, телятина с рынка!), Тамара, родившая девочку Эку с глазами Зураба и носом Зураба, сейчас же оформит развод и уедет, а Гия, вернувшись в свой теплый Тбилиси, исчезнет совсем, навсегда, *безвозвратно*, как могут исчезнуть одни только люди...

В восемь часов мои гости ушли, а весь самиздат почему-то остался. И отец, вернувшись с празднования Нового года, увидел все эти листочки: Синявский, Буковский, стихи из романа...

– Кто здесь был? – тихо спросил он, блея всем лицом и пугая меня этой бледностью гораздо больше, чем если бы он закричал. – Что тут было?

Я забормотала, что люди – хорошие, очень хорошие...

– Что ты собираешься делать с *этим*? – И он побелел еще больше.

– Не знаю...

Я, правда, не знала.

– Ты *этого* – слышишь? – не видела! *Этого* не было.

– Но мне это дали на время, мне нужно вернуть...

– Ты *этого* видеть не видела, я повторяю!

И бабуля, только что приехавшая от подруги, с которой до двух часов ночи смотрела по телевизору новогодний «Огонек» и очень смеялась на шутки Аркадия Райкина, стояла в дверях и беззвучно шептала:

– Не смей спорить с папой!

Тогда я, рыдая, ушла в свою комнату, легла на кровать и заснула. Проснувшись, увидела солнце, сосульки, детей в пестрых шубках, ворон, горьких пьяниц, бредущих к ларьку с независимым видом... Увидела всю эту, дорогую моему сердцу, московскую зимнюю жизнь, частью которой была сама, обрадовалась ее ослепительной белизне, своим – еще долгим – веселым каникулам, своей все тогда освещающей юности...

А в самом конце той же самой зимы в Большом зале консерватории состоялся концерт Давида Ойстраха и Святослава Рихтера. Два гения вместе и одновременно. Не знаю, каким же я все-таки чудом достала билеты. А может быть, меня пригласил тот молодой человек, лица которого я почти не помню, но помню, что он был в костюме и галстук. Концерта я тоже не помню, поскольку мне было и не до концертов, а только до личной и собственной жизни, которая настолько переполняла и радовала меня, что, даже случись тогда Ойстраху с Рихтером вдруг слабым дуэтом запеть под гармошку, я не удивилась бы этому тоже. Но в антракте, когда цепко осмотревшая друг друга московская публика выплыла в фойе, усыпала бархатные красные диванчики и зашмыгала заложенными зимними носами, я вдруг увидела, как по лестнице стрелой промчался тот самый Валентин Никитин, который не ушел, стало быть, под брюхом оленя, не сжег себя рядом с Кремлевской стеною, но, весь молодой и горячий, в своих потемневших и стоптанных тапочках, в своем пиджачке, в своем узеньком шарфе, – промчался, влетел прямо в двери партера, а дальше была суета, чьи-то визги...

Во втором отделении нарядные ряды партера начали испытывать сдержанное волнение, оглядываться друг на друга, поправлять прически, покашливать, как будто бы где-то над их головами летают особенно жадные пчелы. Мой молодой человек с его незапомнившимся лицом, но в чистом костюме и галстук, сидел очень прямо, ловил звуки скрипки и, кажется, тоже чего-то боялся.

Объяснилось довольно просто: на этом концерте был сам Солженицын с женою и тещей. И многие знали об этом событии. В антракте же вышел нелепейший казус: студент из Тбилиси, без верхней одежды, ворвался, как вихрь, и, всех опрокинув, упал на колени, зажал Солженицыну снизу все ноги и стал целовать ему правую руку. Великий писатель стоял неподвижно, руки не отдернул и сам был в волнении. Пока не сбежались туда контролерши, пока не позвали двух-трех участковых и не сообщили куда-то повыше, никто и не знал, что положено делать. Конечно же, в зале был кто-то из «ихних»: какой-нибудь, скажем, француз или турок, какой-нибудь из «Би-би-си» и «Свободы», и все сразу выплыло из-под контроля, наполнило шумом все станции мира, наполнило все провода диким свистом, и тут уж, хоть бей о Кремлевскую стену крутым своим лбом, – ничего не исправишь!

Потом рассказали мне, что Никитина вывели под руки двое милиционеров, и он хохотал, издевался над ними, а милиционеры, мальчишки безусые из Подмосковья, не позволили себе ни одного слова, пока волоком тащили его к машине, и он загребал двумя тапками снег (и было почти как под брюхом оленя!), но, уже открыв дверцу и заталкивая хулигана в кабинку, один из милиционеров, не выдержав, врезал ему прямо в ухо, и сильно шла кровь, и он так и уехал, вернее сказать: увезли по морозцу.

Жена из Таиланда

Деби Стоун, с зимы изучавшая русский язык, и Люба Баранович, ее учительница, молодая, недавно эмигрировавшая из России, стояли на платформе и напряженно всматривались в усыпанную мелким дождем темноту, откуда должен был вот-вот появиться поезд. И он появился: сначала горящие, выпученные глаза его, потом ярко-черная морда и, наконец, все его натруженное, длинное и скользкое тело, внутри которого находились те, которых они поджидали. Пока заранее улыбнувшаяся Люба не подошла к ним и не заговорила, они, насупленные, стояли возле своего вагона, не двигаясь с места. Услышав Любино «здравствуйте!», прибывшие оживились, и самая высокая из них, большегрудая, рыжая и растрепанная, с бантом в помятой прическе, бросила свою сумку наземь и всплеснула руками так энергично, как будто и Люба, и стоящая чуть поодаль смутившаяся Деби были первыми на свете красавицами. От резких движений рукава ее плаща съехали, и большие часы под названием «Командирские» сверкнули, как летнее солнце.

В восьмиместном автобусе, взятом напрокат специально для съемок, помчались в гостиницу, где Деби еще вчера зарезервировала несколько номеров. Чернокожая дежурная с распрямленными кудрями, которые она все время сдувала с переносицы, оттопырив свою лиловатую нижнюю губу, сняла копии с российских паспортов и, широко улыбаясь, сообщила, что завтрак накроют внизу рано утром. После этого гости наконец-то отправились спать, а Деби, смущенная, с Любой, взволнованной встречей, тревожно кокетливой, тоже расстались.

Ночью раздался звонок, и Люба, успевшая лечь и закрыть свои веки, узнала хрипловатый голос Деби, бормочущей чушь и нелепость:

– А мы ведь должны им помочь! Какие прекрасные люди! Если нас попросили участвовать в съемках, значит, это что-то важное для твоей бывшей страны. Я понимаю, что ты уехала и, верно, обижена, да? На вашу страну и на партию. Я понимаю. Однако же люди – при чем? И какие! Ты видела: там есть писатель? И он мне сказал, что он «малчык войны». А что это: «малчык войны»? А рядом был Петья. И он оператор. Такой смешной нос! Как у утки. Ты слушаешь, Луба?

«Луба» кивнула и увидела, что в зеркале вместе с ее покорным кивком уже отражается дерево. Дождя больше не было. В небе, как астра, рассыпалось утро.

Съемки начались в одиннадцать, но не в Гарварде, как предполагали поначалу, а в большом и неуклюжем доме Деби, которой благодарные гости решили сделать приятное и предложили выступить перед многомиллионным российским зрителем.

– Я что говорю? – Рыжая Виктория надвигалась на Любу в своей золотой, с черным бархатом кофте. – Что женщина – главное в мире! Вот кто-то сказал, я не помню, ну, типа царя Соломона, что женщина – это приятно! И он не ошибся! А Деби для нас ведь находка! Простой трудовой человек из Америки всю жизнь посвящает тому, чтоб помочь! Вот этих казахов она привезла, малышей. Ну, бедняжечек этих! Из Алма-Аты. Они здесь закончат колледжи, вернуться домой. Им Деби сейчас ближе мамы!

Люба не стала объяснять, что у «бедняжечек» из Алма-Аты были отцы, которым принадлежали нефтяные и газовые скважины, а сами «бедняжечки» познакомилась с доверчивой Деби на конференции пацифистов, случившейся летом в Алма-Ате, где они работали переводчицами.

Широкое лицо хозяйки пылало пожаром, и шелковая блузка, в которую она нарядилась для съемки, была тоже жаркого красного цвета.

– Котенка, котенка ей дать! – командовала Виктория. – Большим крупным планом – котенка! Животное! Близость к животным! Гуманность! И скажем за кадром, что сердца хватает на всех! Всех спасает!

– Да прямо уж – всех! – лениво усмехнулся оператор с носом уточкой и подмигнул Деби. – Кого же она, бляха-муха, спасла-то?

– Кого? – возмутилась Виктория. – Ах, Петя, ты скажешь! Да вот хоть котенка! Гуляет в лесу, видит: мертвая кошка. Ну, кто наклонился бы? На руки взял? Сдох, и ладно! А тут... Тут ведь сердце! Берет она кошку и мигом в больницу! И все трансплантируют. Все, до копейки! Все почки, всю печень. Включая и глазик. Да, глазик! Искусственный. Цвет-то! Как небо!

Кошка повела на оператора большим, ярко-синим, загадочным глазом. Второй глаз был карим, почти даже желтым, и видно, что свой, от природы, обычный.

– Черт знает! – пробормотал оператор. – У нас человека лечить не пристоишь, а тут, бляха-муха...

Через два дня русскую команду, нагруженную еще больше, посадили в нью-йоркский поезд. Поэт Сергей Егоров, «мальчик войны» и автор нашумевшего стихотворения «Мои яблоки», ставшего песней, не менее знаменитой, чем «Подмосковные вечера», припал к Дебиной руке. Рыжая горячая Виктория обняла ее, вся задохнувшись:

– Родная! Идею твою принимаем! Работать согласны. Совместно. И дома, в Москве, и здесь, в Штатах. И сделаем фильм. Всем покажем!

Тут он подошел. Совсем по-хозяйски, вразвалочку. Нос как у утки. Крепкими руками притиснул Деби к себе. Шея его пахла сигаретным дымом, а пальцы были горячими и жадными. Потом отпустил, не целуя.

– Ну ладно, подруга, – громко, как глухой, сказал он. – Приедешь в Москву, погуляем.

* * *

Летели долго, с двумя утомительными пересадками – в Нью-Йорке и в Хельсинки. Волновались, как их встретят и встретят ли: все решилось в последнюю минуту. В Шереметьевском аэропорту было накурено, стоял везде ровный, взволнованный гул, сильно пахло разлукой. Туалетной бумаги не было. Неуклюжая Деби поставила сумку на краешек раковины, разбила бутылку с коньяком, купленную в Хельсинки. На запах и грохот пришли две уборщицы с одинаковыми тусклыми лицами, напоминающими монеты, попавшие под колесо.

– Дурында какая! Ах, Господи! – сказали они и всплеснули руками. – Бывают дурынды-то, Господи!

Объятие Виктории было горячим, тяжелым и громким, как сумка с камнями.

– Ну, все! Наконец-то! Родные! Ну, слава те, Господи! Петя, ты где? Все, начали съемку! Минута прибытия. Взял и пошел!

В черных измятых штанах, в черной майке Деби смутилась до слез, встретившись с его прищуренными глазами. Опять подмигнул, засмеялся. Она закрыла лицо мясистыми бордовыми георгинами, которые жалобно пахли землею.

Летом девяносто второго года в Москве было жарко почти с Первомая. Асфальт накалился, сирень стала желтой. С гостями из Штатов начались неприятности. Во-первых, еда. На завтрак в гостинице «Юность» давали крутое яйцо, ломтик сильно блестящего сыра, красивый цветочек из твердого масла и сахар кусочками. Хлеб – белый с черным. Чай, кофе, какао на выбор. Все вроде в порядке. Однако на третий же день группа вдруг заболела. Сидели понурые, пили боржоми. Боржоми бурлило в желудках, как Терек. В двенадцать часов по московскому времени к молоденькой ассистентке режиссера, спустившейся вниз за шампунем, пристали чужие усатые люди. Зрачки как маслины, мохнатые шеи – в цепях, пальцы – в перстнях. Вошли вместе в лифт и нажали на кнопку. Только когда доехали до восьмого этажа, догадались, что птичка по-русски ни «бе» и ни «ме». Чеченского тоже не знает. Выпустили на втором этаже, погладили по голове, пощелкали вслед языками. Ассистентка ворвалась в номер к Любе Баранович, стучала зубами от страха. Едва успокоили.

У Любы была вся команда плюс Петр с Викторией. Проект обсуждали на двух языках, все кричали.

– Что я хочу снять? – надрывалась глотнувшая водки лохматая Деби. – Я жизнь хочу снять, вашу жизнь! Вот ваши мужья. Это ужас! Они же третируют жен! А жены? У них же мужья как прислуга! Вчера один муж бил жену рядом с почтой. И видели все. Полицейский их видел. И он промолчал. Это ужас! А утром другая жена била мужа. Ну, то есть, в общем, не била, а сильно толкала. Вот так! Прямо в спину.

– Эх, Дебочка! Жизни не знаешь! – усмехнулся Петр и накрыл руку Деби своей горячей ладонью. – Не бьет – так не любит. Народ наш – дерьмо. Дерьмо, говорю! Понимаешь? А лучше нас нету. Такая вот штука.

– Ты што говорите? – испугалась Деби.

– Ах, что? Он согласен! – простонала Виктория и схватилась за виски, исписанные мелкими поперечными морщинками. – Конечно, согласен! А как ведь все было? Ведь ты же не знаешь! Сначала Орда, жуть, татары. На улицу просто не выйдешь. Кибитка к кибитке. И лошади тут же! Потом интервенты. Ну, это уже в нашем веке: Колчак и Деникин, и красные тоже. Потом продразверстка. Потом сорок первый! Спасали весь мир. Все – в окопы! И вши тоже были. Буквально на людях! Да, что говорить! Настрадались! Колеса истории, как говорится. Сейчас у нас бизнес. Кто спит у нас ночью? Никто, ни секунды! Когда людям спать? У них у всех бизнес!

– А что? Что плохого? – огрызнулся Петр и налил себе коньяку в темно-синий стаканчик. – Жрать хочешь – крутись! Не подохнешь!

– Ой, что я сижу-то! – спохватилась Виктория и вспыхнула как бузина. – Ведь нужно же пленки смотреть! Встали, Петя?

– Вот ты и смотри. – Оператор вдруг отвел глаза. – Мне Деби журналчик один обещала. У ней вроде в комнате. Помнишь?

* * *

С первым своим мужем, сутулым и рыжим ирландцем, она прожила три недели. Сначала был весел и вдруг загрустил, заметался. Запил беспробудно. Потом оказалось, что он алкоголик, все время лечился. Она и не знала. Пришлось удрать к матери – с пузом, без денег. Они развелись, когда дочке был месяц. Ирландец оставил свой дом и все деньги. А сам, видно, спился, погиб под забором.

Второй, итальянец, имел свою адвокатскую контору, занимался бракоразводными процессами. Мечтал все поймать на измене. Жизнь с ним была бурной и очень тревожной. Потом изменил ей он сам. И как! С секретаршей. Она не стерпела, расстались врагами.

И третий, который был полным и мягким, как тесто, ее тоже предал. Ушел к своей первой возлюбленной. Она овдовела, вот он и ушел. Прямо перед разводом умер его отец, оставив сыну огромное состояние. Деньги по законам штата Массачусетс поделили поровну. Деби оказалась богатой, израненной и одинокой. И с дочкой у них не сложилось. Приедет на день: «Мама, мамочка!» Чмок! Улетела! Потом и звонка не дождешься.

* * *

За окнами гостиницы начиналась гроза. Все было лиловым от вспышек, особенно клумба с ромашками прямо у входа. Лиловые ромашки жались к земле, и земля содрогалась. Потом хлынул дождь.

– Эх, славно! Гроза! – бормотал Петр. – Люблю, когда дождь!

Узкие глаза его стали дикими, словно слепыми, лоб мокрым, блестящим от пота.

– Люблю грозу в начале мая! – вскрикивал он, приподнимаясь и опускаясь над ее неловким, горячим и радостным телом. – Когда весенний первый гром...

– О! – задыхалась она, стараясь понять то, что он говорит. – О, Петья! Лублу как я вам! Очэн! Очэн!

Виктория просто сходила с ума. Проект летел к черту. Влюбилась как кошка, а он нос воротит. К тому же женат! Что будет, когда она это узнает? Тогда все, конец, хоть бросайся под поезд! При этом сама Виктория очень любила трогательную историю Петровой женитьбы и раньше, до появления Деби, часто рассказывала эту историю со слезами на глазах.

Они поженились, еще восемнадцать не было. Мальчишка с девчонкой. Уехал в Москву. Ну, талант! Не придраться. И тут поступил. Она в Николаеве, ждет его, значит. Ну, ждет да ждет. А он все не едет. Ее не зовет. Что женат, что свободен – поди разбери! Оператор от Бога! Вот мне говорила София Ротару: «Когда крупный план, только Петю! У всех, у других, я – лягушка!» По мне, так она просто жаба, но Петя умеет! Раз щелкнет, два щелкнет, и вот вам шедевры! Влюбился в одну. Муж в Париже. Помощник посла. Сама она – стерва, одета как кукла. Ну, муж только рад, что любовник завелся. Ему только легче. А наш-то не шутит! Сначала, конечно, развелся. «Прости меня, Оля! Не знаю, как вышло!» Она – ну ни слова! «Конечно, конечно!» Мол, все понимаю, давай разводиться. И все. Они развелись, он женился. Скандалы, измены. Такой был кошмар, вспомнить страшно! Опять развелись. Отдохнул и – по новой! Другая мерзавка, «Умелые руки!» Кружок был по третьей программе, кораблики делали. Баба – картинка! При этом мерзавка, мерзей не бывает. Пожили-пожили, опять все насмарку. И тут телеграмма от Оли: «Вот так, мол, и так. Торопись: мать в больнице. И врач говорит: плохо дело».

Сорвался, поехал. В больнице сказали: «Берите домой, мы не держим». Он взвыл благим матом. Куда ее брать? И тут Оля: «Езжай, не волнуйся, все будет в порядке». И мать забрала. Я ни слова не вру! К себе забрала, в коммуналку. Мать – все под себя. Недержание. Любая бы – что? Но не Оля! Все терпит, святая! Приехал он мать хоронить. Там все уже сделано, чисто, блины, угощение. И тут-то его как бабахнет: «Да что ж я, дурак! Вот мне друг, вот жена! стакан перед смертью подаст, это точно!» И – бах! Предложение! Ей!! От-ка-за-ла! Такое вы слышали? Я – никогда! Уехал в Москву. Ей звонит каждый день: «Давай выходи!» Ни в какую. А летом приехала. Прошлым. Болел. Чего-то там резали, точно не знаю. Ухаживать нужно? Ну, тут и она. Святая! Буквально святая. Живут. Но Олечка замуж не хочет. «Что мне этот замуж? Я в нем уж была!» Такая история! Чудо!

* * *

Заросший седыми, отливающими в желтизну волосами старик сидел на пустом перевернутом ящике. Белый дом смотрел на него равнодушными своими окнами, молодые, недокормленные милиционеры его почему-то не трогали. Жилье старика было очень простым: ящики и коробки, нагроможденные друг на друга так, что из всего вместе получилась избушка, плотно накрытая газетами и сверху газет – целлофаном.

А в пятницу днем вдруг приехал автобус. На правом боку у автобуса было написано: «Съемки», на левом: «Останкино». Из дверцы скакнула высокая, полная женщина с сумкой. Лицо ее было немного напуганным, круглым и красным. Но так неплохая, хотя и с приветом.

Старик приподнялся:

– Идите, идите, гостям всегда рады.

Иностранная женщина крикнула что-то свое внутрь автобуса. С подножки его тут же прыгнули двое: мужик в рваных тапках и девка-красотка. Мужик залопотал по-русски, но так неумело и подобострастно, что ясно любому: приезжий. Девка-красотка заулыбалась сахарными зубами, сказать – ничего не сказала. Видать по всему, не умеет.

– Садитесь давайте, – захопотал старик, придвигая к ним ящики. – Местов нам хватает. А как же вас звать-то?

Гости осторожно расселись. Мужик в рваных тапках сказал:

– Меня зовут Ричард.

– Куда-а? – огорчился старик. – Такого не знаю. По-русски как звать-то?

Мужик засмеялся и развел руками.

– Григорием будешь, – решил старик. – Ушам хоть не тошно.

– Зачем здесь сидите? – спросил иностранный Григорий.

– Зачем я сию-то? – загадочно прищурился хозяин. – Затем, что причины имею.

– Какие же это пры-чы-ны?

Старик начал степенно рассказывать историю жизни, бедовую и непростую. Гости внимательно слушали.

– Остался, как есть. Без всего. Ну, думаю: ладно. Пошел я сюда. Здесь у них дерьмо-краты. – Он хитро посмотрел на Ричарда и подмигнул ему. Ричард испуганно расхохотался. – Устроил жилье. Тепло, ладно. Пишу президенту письмо, пусть читает.

– А вас все-таки не прогонят? – вежливо поинтересовался Ричард.

– Меня-то? Ни в жисть не прогонят! Куда меня гнать? Я гляжу в корневище!

– В кого вы? – не понял Ричард. – И что это вот: кор-нэ-вы-ще?

– Да что! Корневище! Все вижу. И жисть твою вижу, и все твои дрюки.

Иностранный Григорий окончательно растерялся:

– Мои это... что?

– А то! – И старик крепко хлопнул его по колену. – Мужик ты незлой, книжки любишь. Сынок у тебя непутевый, а баба лентяйка, но ты с ней не очень... Еду уважаешь, и рыбку особо. Еще что? Здоровый. Башка варит важно, но скачешь уж больно. Людей привечаешь, боишься обидеть. Деньжата, бывает, плывут, и большие. Но все больше мимо, поскольку ты, парень, с деньгами не дружишь, транжиришь их много... Совет могу дать. Будешь слушать?

Ричард торопливо закивал головой.

– Ты, милка, на Троицын день, – старик понизил голос и придвинулся своим седым и заросшим ртом к уху Ричарда, – скажи-ка молитву. Сперва на коленочки стань и скажи: «Пречисте, нескверне, безначальне, неисследиме, непостижиме, невидиме, неисследиме, непри-менне, непобедиме, неизчетне, незлобиве Господи! Един имей бессмертие, во свете живой неприступном, сотворивый небо, и землю, и море, прощения подавая!» Запомнил?

– Ну вот, а про эту что видно? – Ричард указал подбородком на Деби, которая широко раскрытыми глазами наблюдала за происходящим, ни слова не понимая.

– Про эту? – польщенно заулыбался старик.

Лицо его вдруг изменилось.

– Чего я там вижу? – забормотал он, вставая со своего топчана и сильно нахмурившись. – Чего мне глядеть там? Делов еще много... И вам тоже время... Вон транспорт заждался!

Когда же автобус отъехал наконец и солнце, раскалившее донельзя окна Белого дома, укрылось за бронзовой тучей, старик стянул с головы дырявую ушанку и несколько раз торопливо перекрестился:

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго. Да приидет Царствие Твое, да будет Воля Твоя, яко на небеси и на земли...

Григорий, известный скорее как Ричард, к тому же имел и фамилию: Фурман. Деби познакомилась с ним незадолго до этого лета и очень гордилась, что будущий фильм был в надежных руках. Когда-то, пугливым зеленым студентом, совсем юный Ричард гостил здесь нередко, провел в Москве целую зиму и очень был дружен с ее диссидентами. Теперь, ставши крупным, известным славистом, писателем острых российских сюжетов, таких, как «Убийства в Кремле», «Джозеф Сталин» и запись бесед с сыном Н.С. Хрущева, он так же любил наез-

жать в этот город, который (казалось ему!) не менялся. Хотя нет, менялся. Бойцы-диссиденты стали раздражительными и болезненными, огрызались на своих боевых подруг, виски у которых подернулись пеплом, а зубы коростой, и не было мира, и не было лада среди этих бывших бойцов-диссидентов. Ушла золотая весна, удалилась.

Теперь приходилось клеймить не советскую власть (она так на так развалилась, бедняга), а прежних дружков, укативших на Запад и там проживавших себе на покое. Всех этих максимумых бывших, синявских, войновичей разных... Да всех не упомнишь. Когда же в Москве появлялся вдруг Ричард, простой и приветливый, преданный дружбе, бойцы-диссиденты смягчались, теплели, долго и простодушно обнимались то с ним, залетевшим, то просто друг с другом, усаживались, как бывало при советской власти, на тесные кухни, нарезали соленых огурчиков, раскладывали селедочку, варили картошечку и под аромат ее, жарко-сладостный, бубнили себе под гитару про платица белые... И Ричард всегда был душой компаний.

Виктория, доверявшая ему всем сердцем, решила было намекнуть про историю с Петей, про то, что вот Деби грустна, недовольна, но Ричард хитрил, ускользал, слов не тратил. Одно оставалось: сам Петр. Прижать его к стенке. И все! С глазу на глаз. А ну, отвечай мне, предатель! А кто же? Конечно, предатель! Все дело засыпал. Деби спускалась к завтраку погасшая, с красными веками, при виде Петра начинала метаться, работа ее уже не занимала. А он? Да все то же: наморщит свой нос, как у утки, и – деру!

Наконец Виктория не выдержала. День вяло плыл к вечеру, парило, ныло. Асфальт был присыпан, как сахарной пудрой.

– Петяня, – мягко и просто сказала Виктория, чувствуя, что соски ее болезненно напрягаются под прилипшим от душного дня новым лифчиком. – Ты как собираешься жить? В этом новом твоём положении?

– Рожать собираюсь, – мрачно пошутил Петр.

– Дошутишься, Петя! – вспыхнула Виктория. – Она ничего ведь не знает! Она ведь не знает, что ты ведь женился!

– Как это: не знает?

– Откуда ей знать? Где ей? Петя! Ей разве кто скажет? Она у девчонок спросила: один он? Девчонки сказали: «Да, да! Не волнуйтесь!»

Петр со злостью покрутил пальцем у виска.

– Ты, Вика, сдурела!

– Ах, так? Я сдурела? А ты об чем думал? Работу срываешь! Из-за твоего безответственного поведения мы зиму в Москве проведем! Да! На печке!

– А если б не я, так тогда бы что было?

– А если б не ты, был бы Бостон! Лос-Анджелес! Вот что! И съемки в Нью-Йорке! Да мало ли что! Что молчишь? Сам ведь знаешь!

– В постель меня ложишь? От Оли к вот этой?

– Петяня! – Виктория испуганно оглянулась на дверь. – Ты будь подорожее! Ведь любит же, Петя! А женщина – чудо! Ну, что? Не убудет! Для дела, Петяня!

– Заткнись ты! – себе под нос пробормотал оператор. – «Для дела!» Эх, скажешь ты, Вика! Какое тут дело? Короче, я сам разберусь, бляха-муха...

На следующий день события приняли совсем неожиданный оборот. Съёмочную группу пригласили в Центральный дом работников искусств, где будет обед, а потом – выступления. У Деби, у бедной, совсем сдали нервы. Короткое черное платье делало ее стройнее, моложе, но волосы были взлохмачены, веки красны, как всегда. Молчала, курила. И пальцы дрожали. Виктория попыталась выразительно перегляднуться с Ричардом, но он отвел глаза, стал пялиться на россиянок. На круглые русские скулы. Такие, как ни у кого. Мог бы – съел бы.

Подавали борщ и мясо в горшочках. Десерт был хорошим и чай – очень крепким. Потом пригласили послушать ансамбль. На сцену выбежало трое парней, костлявых, в цепях, в черных куртках. И с ними – девица. Закована в черную кожу, а скулы такие – что не оторваться.

– Когда нечаянно нагрязя-я-я-нет, – громко запела она, – пойдем с тобой в лесок, погово-о-о-рим!

– И весь лесок, конечно, ста-а-а-нет, – подхватили костлявые парни, – вдруг окончательно родны-ы-ы-м!

– О чем это они? – мрачно спросила Деби у Ричарда, стряхивая пепел на краешек блюда.

– Они? – Ричард перевел на нее взгляд, блестящий совсем по-московски. – Они о любви, но не нашей.

– Какой же? – криво усмехнулась она.

– Они о своей любви, русской. Когда можно, знаешь, укрыться в лесу... на природе... – И тут же запнулся, поймав ее взгляд, удивленный, тоскливый.

– Но есть же мотели, – жалобно сказала она.

– У нас, – поправил ее Ричард. – У них есть природа.

Петр сидел рядом с незнакомой женщиной, закинув небрежно ей руку на плечи. Женщина поеживалась, как будто рука щекотала ее, и вся извертелась, желая прижаться. О чем говорили, никто не расслышал. Виктория рванулась вперед и что-то шепнула Петру прямо в ухо. И сразу же ухо светло покраснело. Петр резко обернулся. Сузившиеся глаза его встретились с черными глазами Деби. Он встал, бросив незнакомую женщину в самом разгаре беседы, подошел к Деби и громко спросил ее:

– Ну? Заскучала? Наелась здесь дряни?

Деби испуганно-радостно посмотрела на него, сдерживая дыхание.

– Обед послезавтра! – громко сказал он. – В моем личном доме. Я всех приглашаю. К семи. В бальных платьях.

Когда американская съемочная группа уже сидела в автобусе, он вдруг подбежал и вскочил на подножку:

– Башка разболелась! Таблетка найдется?

– Что он говорит? – быстро прошипела Деби, оглядываясь.

– Он просит таблетку, – сдержанно перевел Ричард. – Мигрень. Или спазмы.

– Даю вам таблетка! – закричала Деби. – Имею таблетка! Но в доме, в отеле!

В номере у нее был беспорядок. Вечернее платье, которое Деби собиралась надеть в Центральный дом работников искусств, раскинулось в кресле, как женщина без головы. А Петр был рядом, смотрел исподлобья.

– Ты что? – спросил он ее. – Ты меня полюбила?

– А ти? – ответила она умоляюще. – Тожа любишь?

– Я тоже, конечно, – пробормотал он. – Такие дела, бляха-муха...

Через час он крепко поцеловал ее в губы, пригладил ее вспотевшие волосы, стал одеваться.

– Зачем ти уходишь? – счастливым голосом спросила похорошевшая румяная Деби. – Здес будь. И на утро.

– Какое «на утро»? – вздохнул он. – Меня жена ждет.

Деби побледнела так сильно, что лицо ее стало похоже на кусок простыни, но только с губами, с глазами.

– Жи-на? – переспросила она. – А где она есть? Ваша жи-на?

– Жена моя? Дома, надеюсь.

Она зажмурилась и отвернулась. Петр нерешительно помялся на пороге.

– Ну ладно тебе. Я пошел.

Часа через три приключилось несчастье. Сестра Виктории, родной ее кровный близнец Изабелла, имела супруга. Супругом был главный в Москве гинеколог. Бандиты с окраин, пользуясь рассеянностью этого очень тяжело работающего в клинике и постоянно спасающего человеческие жизни врача и доцента, забрались в его незапертую машину, дождались, пока он включил зажигание, приставили к горлу оружие, чтобы...

Короче, наутро раздался звонок. Сестра Изабелла спала, когда он раздался. Уродливый голос (естественно, женский!) спросил гинеколога.

– С ума сошли, девушка? – не приветливо ответила Изабелла. – Куда в эту рань?

– Придется проснуться, – хмуро ответила «девушка». – Где муж-то, хоть знаешь?

– Мой муж? Он на даче.

– Какой еще даче! – Незнакомая громко, с досадой, вздохнула. – Он вот. Сидит, плачет.

– Кто плачет? – вскричала с ненавистью Изабелла Львовна. – Мерзавка и падаль! Сейчас ты заплачешь!

И тут же услышала всхлипывания. Мужские и страшные.

– Белюша! Отдай ты им все, ради Бога! Убьют ведь, Белюша!

Тут слезы закончились, трубка стонала. Изабелла Львовна догадалась, что муж ее, Изя, родной ее муж, весь истерзан и плачет. Вернулась преступница:

– Слышала? «Дача»! Короче, сегодня в двенадцать. Положишь в почтовый. В один конверт двадцать кусков, в другой – тридцать. Запомнила, жучка?

– В один конверт... – погружаясь в темноту и звон, залепетала Изабелла Львовна. – В другой конверт... Сколько?

– Да тысяч же, дура! В один конверт двадцать, в другой конверт – тридцать! Ну, что? Поняла, недотепа?

И все, провалилась. Ледяными руками Изабелла Львовна набрала сестру.

– Что, Белла? – вскричала Виктория. – Плохо? Кому? Неотложку? Где кобель?

Это было домашнее прозвище Исаака Матвеича, которое сестры обычно использовали в своих переговорах.

– Похищен! – шепнула близнец Изабелла.

Через двадцать минут она, захлебываясь и кашляя, рассказывала примчавшейся на попутке Виктории Львовне подробности дела.

– Так. – Виктория с силой закрыла глаза. – Мне ясно. Подробности есть? Кровь? Детали?

Сестра Изабелла негромко рыдала.

– Мне ясно, – повторила Виктория. – пытки. В подвале. Сидит на цепи. Я читала. Что думаешь делать?

Изабелла Львовна упала грудью на кожаный белый диван и забилась.

– Какие есть деньги? Физически? Сколько?

– Какие же деньги? Все вложено, Вика.

– Я знаю, что вложено! Сколько осталось?

– Ну, тысяч, наверное, тридцать. Не больше...

– Так. Тридцать, не больше! При вашей зарплате! Зачем ты кольцо тогда, в мае, купила? Ведь стоило сколько? Шестнадцать? Семнадцать? Эх, Циля-то в Хайфе! Сейчас продала бы!

– Не в Хайфе Цицилия, а в Тель-Авиве, – убито поправила ее Изабелла Львовна. – Когда продавать, если нужно сегодня?

– Так. Тридцать. И шесть от меня. Больше нету. Ремонт сколько стоил? Вот именно! Значит...

Изабелла Львовна тяжелой породистой рукой схватилась за сердце.

– Я знаю! – Виктория вдруг просияла. – Я знаю, кто даст! И не скажет ни в жизни! Поскольку немая! Немая как рыба!

– Да, Господи, кто это?

– Деби! Продюсер! Давай мне словарь! Как там «выкуп»?

Деби на стук не отозвалась. Виктория замолотила энергичней и голос повысила тоже.

– What a hell do you need?¹ – хрипло спросили ее.

– We need you!² – закричала Виктория. – У нас тут несчастье! Дебуня! Откройте!

Дверь приоткрылась, на пороге выросла Деби с бутылкой в руке.

– О! – на весь коридор удивилась Виктория, но в комнату к ней прошмыгнула.

– Што хотите? – всхлипнула Деби.

Бутылка была от шотландского виски, кровать не заправлена, грязь и окурки.

«Вот вам заграница! – Виктория вся передернулась. – Вот вам! Еще больше свиньи, чем наши!»

Вслух же она ничего такого не сказала, а только лишь громко заплакала:

– Несчастье! Ужасное! Изя! Похищен! Грозятся убить! Нужен выкуп!

Путая английские слова с русскими, она кое-как изложила несчастье. От Деби – ни звука. Сидит, как старуха, и смотрит на люстру. Косыми от этого виски глазами.

– Муж ваши сестра – тоже доктор?

Виктория вся покраснела.

– Не тоже, а именно! Доктор от Бога!

– Нуждаюс лекарства, – сказала ей пьяная. Пальцем проткнула висок. – Мне нужно здес вот всо лычит. Я болела.

– Лекарство? – взвизгнула Виктория. – Да будет лекарство, Дебуня! Уколы, прививки! Все сделаем! Где мы живем, ну, скажи мне? Какая же это страна! Всех воруют! Пошел человек на работу – и нету! А терпим! Страна наша – тайна! Загадка! Древнейшая! Терпим! Спасти хоть бы Изю! Но деньги нужны, нету денег, Дебуня!

– А ти не жилаэш звонить президенту? – зачем-то спросила Дебуня.

– Я? Клинтону? Биллу? – фамильярно удивилась Виктория. – Но он не поверит! И время у вас там другое, там вечер! А деньги нужны нам сегодня, сейчас же!

– У Петья жи-на, – мертвым голосом сказала вдруг Деби.

– Упетья? – не поняла Виктория. – Какая упетья?

– Жи-на, – повторила Деби и сморщилась вся, почернела.

Виктория сжала подругу в объятьях.

– Да разве жена? Да ты что! Дружат с детства. Убрать, приготовить. Мужик, руки-крюки! А любит тебя! Да, тебя! Обожает! Мне сам говорил, врать не станет!

Деби осторожно высвободилась из объятий. Глаза ее вдруг прояснились.

– You need how much? Let me help you. 10 thousand? More? Don't worry.³

* * *

Ни одна живая душа не узнала, каким таким образом из почтового ящика квартиры под номером 118 вынули два чистых белых конверта. В одном было двадцать, в другом ровно тридцать. И все на валюту. Рублей не просили. Лифтерша Софья Ивановна, мирно продремавшая все дежурство над чаем с огрызком лимона и сушкой, никаких посторонних не заметила, дружелюбно поздоровалась со знаменитым Исааком Матвейичем, который в половине первого ночи вбежал в лифт, похудевший и странный.

В это же время у подъезда гостиницы «Юность» остановилась машина. Две пышные рослые женщины вылезли из нее. И тут же фонарь осветил их.

¹ Какого черта вам надо? (англ.)

² Нам вас надо! (англ.)

³ Сколько вам надо? Я вам помогу. Десять тысяч? Больше? Не бойся (англ.).

– Нет слов, – простонала одна, с ярко-рыжей прической. – У нас говорят: «Хиросима! Вьетнам! Войну развязали!» И все вот такое. А я говорю: «Нет! Тут сердце!»

– Good night, – вздохнула другая, брюнетка. – I'll write you a letter sometime.⁴

У рыжей глаза поползли из орбит:

– Письмо мне напишете? Что вы! Какое?

– Я ехаю в дом. В свой домой. Уезжаю.

Виктория чуть не упала. Затылок ее закипел, как свекольник.

– Куда? Деби! Как же работа? Ведь только начало! Куда же вы? Деби!

– Имеет жи-на, – упрямо опустив голову, сказала Деби. – И я так хотела.

– Да это не мэридж!⁵ – Виктория схватилась за виски. – Я вам объяснила! У них не любовь и не мэридж! Партнеры! Он вас обожает!

– Нет, он есть жи-на-тый!

– Но он же погибнет! – Виктория изо всех сил схватила ее за рукав. – Погибнет в разлуке! Without you!⁶ Вот что! He'll die,⁷ вот что будет!

Надежда блеснула в глазах бедной Деби.

– Как ты это знаэш?

– Да что мне там знать? Все же знают! И он не скрывает! Дебуня, все знают!

Дебуня прижалась щекой к ее уху.

– Я стану подумать.

И вдруг убежала. Как будто ее догоняют, чумную!

– Нет, ты не уедешь, – бормотала Виктория, трясаясь на сиденье такси. – Как? Проект же. Куда ты уедешь? Все глупости, вот что!

Обед состоялся. Ольга оказалась невысокой и очень спокойной блондинкой. Причесана просто, без всякой косметики. Над левой бровью красивая родинка. И Деби как только вошла в этот дом, так вся сразу обмякла. В хозяйке были терпеливость, приятность. На Петра она смотрела слегка снисходительно, как на братишку, на всех остальных – с теплотой. Кормили прекрасно, изысканно даже. На первое суп, но не борщ, надоевший, а нежный, протертый, как в Мэдисон-парке, потом была утка, вся в яблоках, рыба, потом овощной, очень легкий салат и торт на десерт. С земляникой. У Виктории от гордости за такое великолепное угощение и от того, что жизнь повернулась опять своей вкусной и очень приветливой к ним стороной, блестели глаза, нос и щеки. Туфли с кусками леопардовой кожи по бокам она даже скинула, чтобы не терли, пиджак расстегнула. (Поступок с деньгами уже стал известен, на Деби смотрели другими глазами!) Беседа была за столом оживленной.

– Ну, что – перестройка? – кричали гости. – Кому она, лярва, нужна? Перестройка! Одна болтовня, как обычно! Витрина!

Ричард не успевал переводить.

– Я мужу пыталась поставить два зуба! – горячилась сценаристка Шурочка Мыльникова. – Два зуба, и только! Чтoб начал жевать! И знаете, сколько с меня запросили? Я если скажу вам, никто не поверит!

– Да ладно! Что зубы! – перебивали ее. – Без зуба-то можно прожить, а без почки? Вот именно! Друг мой ближайший болел. Срочно нужен диализ. Даем, сколько нужно. На лапу. Пошел. Аппарат не того. Полومان, короче. Все снова. Ну, ждите. И все! Схоронили! Вот так! Почему? Пропущено время! А друг был – ближайший! У вас вот там, в Штатах, бывает такое?

⁴ Спокойной ночи... Я вам напишу как-нибудь (англ.).

⁵ Marriage – брак (англ.)

⁶ Без вас! (англ.)

⁷ Умрет (англ.).

Деби всплескивала руками, чувствуя только одно: горячую крепкую ладонь Петра. Ладонь, опустившись за валик дивана, слегка теребила ей спину. Кончили пировать в половине второго. Над городом таял мерцающий дождь, пахло белым жасмином. Гитара скучала в соседнем дворе и вдруг начинала звенеть, задыхаться. А рядом с песочницей, в детских качелях, повисла, как птица, влюбленная пара. Качнулась, взлетела под самые звезды.

– У вас есть эро-ты-ка, – старательно выговорил захмелевший Ричард. – Ее аро-мад. У нас его нет. И давно нет.

– А что у вас есть? – кокетливо засмеялась Шурочка.

– У нас толко секс. И разных обязанностей, обязательств...

– Умеем любить! – выдохнула Виктория. – Ох, умеем! Промышленность всю запороли, все реки засрали, леса порубили, а любим! Умеем! Такой мы народ! Нестандартный!

Оставшуюся неделю провели в чаду и непрерывном веселье. Снимали все, что попадалось под руку, включая московские толкучки и родильные дома. В субботу пришли в новый клуб к новым русским. Наголо обритые, с раздувшимися бицепсами парни кормили приезжих пельменями с водкой. В пятницу по просьбе Ричарда поехали в дом для детей-инвалидов. Директор, похожий на нестеровского отрока, вишнево краснел и слегка заикался. Вместе с детьми он провел экскурсию по дому и саду. В саду были грядки с морковкой и луком. А в комнате игр – два мяча, кегли, карты. Ребята любили играть в подкидного. Потом один мальчик, у которого левая половина головы была вся седой, серебристой («Он видел, как мать убивали!») – шепнул им директор), спел несколько песен, и Деби всплакнула.

Вообще впечатлений хватило надолго.

Наступил, наконец, и последний московский вечер. Арендовали веранду ресторана «Прага», наприглашали кучу народа. Поэт, знаменитый, – не тот, автор «Яблок», а тот, у которого губы запомнили вкус сильных губ Пастернака, поскольку известно, что он, Пастернак (если верить поэту!), услышав стихи молодого поэта, не выдержал мощного юного дара, обнял парня крепко и расцеловался (а губы запомнили все: вкус и запах!), – так вот, знаменитый поэт тоже был, и, конечно, с женой. От Ричарда много пришло живописцев, и, кажется, даже пришел Файбисович.

После закусок молодцеватый официант с раздвоенным подбородком внес на большом неостывшем подносе успевшего мирно заснуть поросенка. На лице поросенка не было ни следа пережитого ужаса, голубоватые глаза его смотрели приветливо, но равнодушно, из детского рта вылезала петрушка.

Петр, как со страхом заметила Виктория, слишком много выпил и курил почему-то одну сигарету за другой. Ольга на бал не явилась.

– Простужена, горло! – буркнул Петр, отводя глаза.

– Господи! – зашипела Виктория, не переставая улыбаться в сторону Деби, гостей и всех прочих. – Я, Петя, не знаю совсем, что мне делать! Мы едем в Нью-Йорк или мы остаемся? Мы будем работать над фильмом? Не будем? Билеты заказывать или не надо? Я, Петя, буквально лишаюсь рассудка!

– Э-эх ты! Бляха-муха! – Петр тяжело придвинулся к Виктории и выпустил весь свой дым сигаретный в ее беззащитную белую шею. – Ведь любит она меня! Слышишь ты? Любит! Весь вечер вчера на плече прорыдала!

И он хлопнул себя по левому плечу с такой силой, что какое-то еле заметное серебристое облачко приподнялось над красивой черной тканью его пиджака и осело обратно. Виктория, вся сморщившись, проводила облачко глазами, закивала сочувственно, но видно было по всему, что волнения ее не оставили.

Петр твердой походкой пересек оживленную веранду, подошел к Деби, стоявшей в окружении московских гостей, взял ее руку, подержал в своих руках, отпустил и, не сказав ни слова, той же твердой походкой пошел прямо к лифту.

Деби заметалась.

– Куда это Пьетр? – испуганно спросила она у Виктории. – Што это? Он болен? What's up? Tell me now!⁸

– Он места себе не находит! Разлука! Как жить-то теперь, если ты уезжаешь?

У Деби лицо осветилось вдруг так, как будто луна, просияв над Арбатом, была никакой не луной, а солнцем.

– Но ви же приехать? Снимать наши dalje?

* * *

Дом ее ничуть не изменился, все так же громоздился он своей неуклюжестью над синим озером, и деревья шумели по ночам, и странная птица, которую она ни разу так и не видела, но которая неизменно прилетала к ней каждое утро и, прячась в листве, говорила: «Фью-ить!» – эта птица, обрадовавшись тому, что хозяйка вернулась, опять ей сказала под утро: «Фью-ить!»

Со страхом она чувствовала, что все стало другим: и деревья, и люди, и птицы. Вернее сказать, все это было таким, как и прежде, а значит, другой просто стала она. Ей предстояло прожить без него целых два с половиной месяца, но она думала о нем постоянно, и каждую ночь в ней была его близость.

Пятнадцатого наконец прилетели. Деби вместе с Любой Баранович встречала московских друзей в аэропорту Кеннеди. В составе группы произошли некоторые изменения: Шурочка Мыльникова не приехала, а вместо Шурочки приехал узкоплечий, с завядшими усами Виктор Дожебубцев, про которого Виктория с восторгом сказала немедленно Деби:

– Родной абсолютно и истинный гений!

Поэтов не было, но зато была жена одного из них, особенно знаменитого. Ей хотелось написать про принцессу Диану, которая тогда была еще живой, невредимой и мучила принца, не зная, что ждет ее. Впрочем, не важно.

– Вот это сюжет! – стрекотала Виктория. – Это ведь сказка! И мы вставим в фильм, это будет уместно! Как, с одной стороны, простая русская женщина понимает переживания другой, простой английской женщины (пусть даже принцессы, не важно, не важно!), – и мы, со своей стороны, кинематографисты, возьмем это в фильм, отразим непредвзято, – да это же прелесть! Шедевр и находка!

– А где все же Петья? – замирая от страха, спросила ее Деби.

– Да здесь он! – уронив свою рыжую пышную голову, зашептала Виктория. – Напился, скотина, и спит, отдыхает! А что было делать? Бесплатные дринки! И он: дринк за дринком! Подремлет минутку и дринк, дринк! За дринком!

Осторожно, как арфу, прижимая к себе плохо держащегося на ногах оператора Петра, стюардесса авиакомпании «Люфтханза», массивная, с голубыми глазами, приятная женщина, помогла ему спуститься по трапу. Петр смотрел насмешливо, сам был похудевшим и строгим.

– Ну вот! – сгорая от стыда, повторила Виктория. – Вот я говорю: дринк за дринком!

– Зачем? – не поняла Деби.

– Зачем? Как зачем? – вскрикнула Виктория. – Затем, что страдает! Волнуется слишком! Не выдержал вот напряжения, запил! Он русский же, русский! Мы любим – не шутим!

Петр строго чмокнул Деби в щеку, а Любу Баранович, соотечественницу, расцеловал троекратно. Поехали в гостиницу. Деби, растерянная, сидела рядом с шофером, не зная, пла-

⁸ В чем дело? Скажите! (англ.)

кать или смеяться. Петр дремал, привалившись к окошку. Обедать он не спустился, и Деби начала кусать губы, лицо все пошло сразу пятнами.

– А што Петья йест? – спросила она у Виктории.

– Што йест? – переспросила Виктория. – Ничего он не ест! – Глаза ее радостно вдруг заблестели: – Снеси ему, а? На подносике. А? «Вы, Петя, устали, а я, как хозяйка...» И тут же – подносик: «Покушайте, Петя!»

И Деби пошла. Все, что было на подносике, плотно уставленном едой, – все это звенело, дрожало от страха. Сам страх был внутри ее левой груди. Он бился, как рыба, продавливал ребра. Постучала в дверь колечком на указательном пальце. За дверью – ни звука. Он, может быть, спит? Спит, конечно. Сейчас вот проснется, увидит. Позор! Стоит она здесь, идиотка, с подносиком! Дверь распахнулась. Петр привалился к косяку и смотрел на нее сердитыми узкими глазами. Небритый, опухший, в измятой пижаме.

– Входи, раз пришла! Что стоять-то?

– О! What did you say?⁹

– Входи! Вот ай сэй!¹⁰ Любовь будем делать! Входи, не стесняйся! – А сам поклонился, как шут.

Она переступила через порог, поставила подносик прямо на ковер.

– Што ты? – прошептала она. – Хочэш спать?

– Спать? Ну, еще бы! А спать мне нельзя! Я здесь подневольный. Ты что? Не слыхала?

Она смотрела на него испуганно, нежно и, не понимая того, что он говорит, чувствовала нехорошее.

– You need a good sleep, – прошептала она наконец и пошла было к двери.

Обеими руками он схватил ее за плечи и с яростью развернул к себе.

– Ну, нет! Ты постой! Я кому говорю? Они нас под лупой глядят, вот в чем дело! Сошлись мы с тобой, переспали. Ну, так? А им – на кой ляд? Мы решаем. И нечего лезть! Их не просят! А тут? У них тут проект! Кинофильмы, поездки! Видала: говна навезли? Шибзик этот, с усишками, Виктор? Видала? А мне говорят: «Ты там, значит, того... Типа ты не плошай, на тебя, мол, надежда!» А я, что ли, раб? Бляха-муха! Я раб?

– You need a good rest, – повторила она, не делая ни малейшей попытки освободиться из его рук. – You just go to bed, you just go and sleep.¹¹

Он вдруг зарылся лицом в ее волосы.

– Эх ты! Деби ты, Деби!

– But you... Do you love me or not?¹²

Петр удивленно посмотрел на нее.

– Совсем не врубаешься, да? Ни на сколько?

Она торопливо закивала головой.

– Ну что с тобой делать, а? Что, говорю?

Деби вспомнила Ольгу. Он не знает, что делать, потому что есть Ольга. Нельзя ее так страшно обманывать. Ах, как же он прав! Разумеется, прав!

– But she is your wife... And we shouldn't... Because...¹³

Петр даже крякнул с досады:

– Об чем говоришь? «Вайф» – я знаю: жена. А жена здесь при чем?

⁹ Что ты сказал? (англ.)

¹⁰ What I say – Что я говорю! (англ.)

¹¹ Ложись, иди спать (англ.).

¹² А ты... меня любишь? (англ.)

¹³ Она тебе жена... нам нельзя... потому что... (англ.)

Деби видела, что он сердится, и думала, что сердится он именно на Ольгу, вернее, даже не на Ольгу, а на то, что женат, несвободен. Неужели, не будь он женат, пришлось бы прокрадываться к нему в номер с этим подноси́ком?! Она знала одно: Петр, как и она, хочет только того, чтобы вместе навек. Она понимала, что он мучается, не может выразить переполнявшей его боли, потому что, будучи человеком достоинства, совести, чести, он, Петр, в таких ситуациях не был ни разу. Ему, с его честностью, немотогу. А чем она может помочь? Чем и как?

О, вот почему он напился в дороге! Он просто иначе не мог, он ведь русский, а русские пьют от тоски. Это правда.

Она смотрела на него мокрыми от слез глазами, радуясь тому, что не ошиблась в нем, что не одни эти руки, и губы, и бархатный голос она в нем любила, но редкое сердце, и вот поняла даже то, что напился, и все поняла в нем давно, все до капли! Язык им не нужен. Обезими ладонями она неловко повернула к себе его небритое лицо, прижалась лбом к колючему подбородку. Он глубоко, облегченно вздохнул. Чего тут мусолить? И так, в общем, ясно.

* * *

На следующее утро за завтраком Виктория была весела, кокетничала с официантом и очень ждала появления Деби. А Деби все не было. Виктор Дожебубцев, растягивая губами слова и медленно выталкивая их через ноздри, ругал принесенный омлет и особенно кофе.

– Вот я приезжаю в Европу, – намазывая джем на булочку, бубнил Дожебубцев. – Ну, скажем, что в Лондон по делу журнала. Мы начали «Колокол». Дивный журнал был! Ни с чем не сравнимый. Огромные деньги. Нет, чьи, не скажу, догадаться нетрудно. Работы – поверх головы! Плюс Европа. Тут Сотби, там Сотби, прием на приеме. Ни часу не спал. Потому что когда мне? И что бы я делал при ихнем вот кофе? – Дожебубцев брезгливо ткнул пальцем в чашку с кофе. – Какое, позвольте спросить, это кофе? Помои, и все! Вот какое здесь кофе! А там? Там напиток! Короче, Европа. А здесь что? Деревня и быдло на быdle. И мне наплевать, что у быдла есть деньги. Он быдлом родился, умрет тоже быдлом!

Тут как раз и появилась Деби. Разгоряченная, в широкой белой блузе. Дожебубцев галантно поцеловал ей ручку и придвинул стул. Петр вытащил было сигарету, но официант вежливо показал ему знаками, что курить запрещается. Тогда Петр смял сигарету о блюдечко и отвернулся. На Деби совсем не смотрел, и она погрузилась.

– Ну, вот! Наконец-то! Послушай, Дебуня! – громко, как всегда, заговорила Виктория. – Давайте поедим в Коннектикут, рядом. Там наш бизнесмен проживает. Чудесный! Нельзя пропустить, очень важно для фильма. Ты, в общем, увидишь, сама все увидишь.

Дорога в соседнем с Нью-Йорком штате Коннектикут шла вдоль берега. Вода, похожая на стусившееся до темно-синего светло-синее небо, была так беззвучна и так безразлична ко всем, ко всему, ее было так много и так равнодушно катились ее мелкие, сменяющие друг друга волны, что делалось грустно: вот мы ведь умрем, мы исчезнем, а это все будет. Волна за волной, и волна за волной, опять, и опять, и опять, и навечно... Особняки прятались в густой, только кое-где покрасневшей и пожелтевшей листве, виднелись их крыши и изредка окна.

– Красивое место, – в усы пробурчал Дожебубцев. – Огромные, судя, потрачены средства.

Наконец увидели на низкой, сложенной из белых камней огаде выбитое золотом имя: «George N. Avdeeff».

– Он! – задохнулась Виктория. – Он! Это Жора Авдеев! Из нашего класса. Вот тут он живет!

Остановили автобус, по главной аллее направились к замку. Был замок огромен и бел, как корабль, с террасой, похожей на палубу. Посреди террасы стояла высокая девушка в полосатом, черно-желтом купальнике, который издали делал ее похожей на пчелу, поднявшую кверху передние лапы.

– К нам, да? – радостно закричала она низким, пчелиным, прокуренным басом. – Я вас раньше ждала! Это вы нам звонили?

– Ах, Настя, да? Да? – отозвалась Виктория. – Вы Настенька, вы? А я вам звонила! Вы – Настенька Липпи?

– Ну, я. Кто еще? Папка скоро придет. А вы проходите. Сейчас я оденусь!

Вспорхнула, как пчелка, исчезла куда-то.

– Он что? – удивился Дожебубцев. – Он что это, с дочкой живет?

– С какой еще дочкой? – Виктория от досады на неуместные вопросы скрипнула зубами. – Она так зовет его: папка. Но он ей – жених.

Настенька Липпи очень скоро вернулась в белом пиджачке, шортах из змеиной кожи и золотых туфлях. Волосы ее были заплетены в косы и венком уложены на голове.

– Дизайн от Версаче, – сказала она и с приятным звуком провела по змеиной коже обеими ладонями. – Мне папка сам выбрал.

– А выпить у вас не найдется? – спросил было Петр, но Виктория яростно перебила его:

– Водички, водички! Из крана – водички!

– Зачем же водички? – догадалась умная Настенька Липпи. – Кто любит водичку? Одни пионеры!

Она опять убежала и вернулась не одна, а с милой, упитанной девушкой, у которой расстояние между верхними передними зубами было таким широким, что мог уместиться там целый мизинец.

– Вот это Валюша, – сказала Настенька. – Сейчас мы все выпьем и будем ждать папку, и с папкой обедать.

– Ах, Господи, что вы! – умилилась Виктория. – Какое «обедать»? Ведь мы к вам по делу!

– Нет, нет! Сперва выпьем! – И самоуверенная Настенька захлопала в ладоши.

Расторопная девушка Валентина мигом выкатила откуда-то столик, уставленный винами, водками и коньяками, а сама Настенька опять убежала с многообещающей улыбкой на крепких своих, полных губках.

– Она итальянка? – спросил Дожебубцев. – Она из семейства прославленных Липпи?

– Зачем итальянка? – темно и сердито зарделась Виктория. – Она с псевдонимом живет. Много лет. Что ж такого?

– Мы – Золотнюки, – простодушно объяснила Валентина. – Отцы у нас – братья, мы с Гомеля обе.

Настенька Липпи вернулась, нагруженная всякой всячиной: сырами, колбасами, орешками, виноградом, кусками снежно-белого и жгуче-черного шоколада, так искусно разложенного на хрустальных тарелках, что жалко было разрушить узор, жалко трогать.

– Так вы здесь живете? – спросила Виктория, тая от счастья.

– Да нет, не все время! – отмахнулась Настенька и закурила тонкую коричневую сигарету, поджав под себя левую ногу, уютно устроившись в кресле. – Валюшка живет и следит тут за домом, а мы все летаем: то в Лондон, то в Канны. У папки дела во всем мире, не скучно. Вот только вернулись недавно. С Таиланда.

– И что там, в Таиланде? – мрачно поинтересовался Петр. – Не жарко, надеюсь?

– Там – классно! – с сердцем ответила Настя. – Житуха там – сказка! И знаете что? Там ведь можно жениться! Жениться на месяц, и все! И с приветом! Не хочешь на месяц – женись на неделю!

– Что значит: жениться? – не поверила Виктория. – Как это: жениться?

– А все как взаправду. Ты, если турист, например, так идешь в турбюро. И там говоришь им, что хочешь жениться. Они тебе – карточки разные, пленки. Ты смотришь. Потом выбираешь, какую. А хочешь, так двух, если денег хватает. Потом у тебя этот месяц – медовый. Вы

ездите всюду. Ну все как взаправду. Захочешь, так даже вас там обвенчают. Потом уезжаешь домой – и с приветом!

Деби вдруг дернула за рукав Любу Баранович:

– Please, Luba, translate it!¹⁴

Смутившись, Люба перевела ей рассказ Насти Липпи. Деби засверкала глазами и приоткрыла рот, как будто какая-то неожиданная, грубая мысль всю перевернула ее. Хотела о чем-то спросить, не успела. В ворота белого замка неторопливо въехал серебристый «Кадиллак». За рулем его сидел средних лет человек в белой майке и очень больших, очень черных очках. Виктория вскочила, страхивая прилипшее к ней от волнения плетеное кресло.

Ну вот! Наконец-то! Сто лет и сто зим!

Приехавший на «Кадиллаке» вылез из него и, поигрывая связкой блестящих ключей, надетой на палец его очень смуглой руки, поднялся на веранду.

– Hello, everybody!¹⁵ – сказал он спокойно.

Виктория, думавшая было поцеловаться, поняла, что этого вовсе не нужно, и напряженно засмеялась:

– Совсем не меняешься!

– Really?¹⁶ – удивился он и тут же негромко сказал Насте Липпи: – Настена, скажи, чтоб пожрать, я голодный.

Гости почувствовали себя неудобно, насупились, начали переговариваться между собой. Минут через десять все сели за стол. Хозяин был скуп на слова, неприветлив. К вину, к коньяку не притронулся вовсе. У Деби было такое лицо, что Виктория решила на нее не смотреть и исправить положение собственными силами.

– Георгий! – громко сказала Виктория. Встала, сверкая своей рыжиной в лучах солнца. – Хочу сказать тост. И тебе, и Настюше.

– А может, не надо? – прищурился George N. Avdeeff.

– Взгляните вокруг! – всполошилась Виктория. – Вы скажете: «деньги»? Нет, дело не в деньгах! Что купишь за деньги? Талант себе купишь? Способности купишь? А сердце? Не купишь! И есть среди люди, среди то есть нас, среди просто нас, есть и люди, такие... – Виктория слегка запуталась, но выправилась и закончила звонко: – За вас, Жора с Настей! За сердце, ум, волю! Про вас надо книги писать, вот что! Книги! И ставить кино, и снимать вашу жизнь!

– Ну, скажешь! – засмеялся Авдеев. Глаза его были спокойны, бесстрастны.

– И я предлагаю начать делать фильм! – заторопилась Виктория. – Пока мы здесь все, мы приступим здесь к съемке, а там ты посмотришь, но шанс очень важный...

– А я чтоб спонсировал, что ли? – поинтересовался Авдеев.

– Please, Luba, translate it!¹⁷ – приказала Деби.

Люба неохотно перевела.

– Ну, это вам дудки, – отрезал хозяин. – Не будет вам фильма. Зачем нам светиться? Мы люди простые. Согласна, Настена?

В автобусе висело молчание. Оно было таким плотным и крепким, что в него, как в одеяло, можно было завернуть весь Коннектикут. При въезде в Нью-Йорк Деби громко сказала:

– Please, Luba, translate: this is it! It's the end!¹⁸

– Она говорит, – смущенно прошептала Люба, – в общем, это конец.

– Что такое: конец? – забормотала Виктория.

¹⁴ Пожалуйста, Люба, переведи! (англ.)

¹⁵ Привет всем! (англ.)

¹⁶ Правда? (англ.)

¹⁷ Пожалуйста, Люба, переведи! (англ.)

¹⁸ Люба, пожалуйста, переведи: все, конец! (англ.)

– Как так: вдруг конец? Почему? Что ей вдруг...

Деби отвечать не стала, но губу нижнюю закусила так, что она побелела вся. Вся даже вспухла.

Через час Люба Баранович постучала в дверь Виктории.

– Деби просила передать вам ваши обратные билеты. Автобус будет ждать вас в двенадцать утра. И сразу же – в аэропорт. Захотите остаться – пожалуйста. Гостиница здесь еще будет три дня. Все заплачено. А Деби сама улетает.

Виктория, бледная, рухнула в кресло.

Ну, вот! Так и знала! Вся жизнь – как под поезд!

Люба слегка погладила ее по плечу:

– Зачем вы так, Вика? Зачем вам Авдеев? Ведь ей унизительно. Что, вы не знали?

– Что ей унизительно? – Виктория подняла на Любу тихие красные глаза.

– У вас с ней проект. Она спонсор. А вы! То это вам нужно снимать, то другое! У вас свои цели, Вика, но ей неприятно. Представьте себя в ее шкуре...

Виктория так и взвилась:

– Что представить! У нас шкуры разные, Любочка, вот что! Да, я не скрываю: пусть даже Авдеев! Поеду к Авдееву и не унижусь! Мне надо всю группу кормить, вы не знали? Не будет работы, мы ножки протянем! У всех, Люба, семьи, у всех, Люба, дети, и нам не до жиру! Мы в шкурах-то разных!

– И что теперь будет? – задумалась Люба.

– Откуда я знаю? – Виктория вся стала серой и старой. – Начальство, конечно, налупит по шее, отменят поездки... Еще что – не знаю...

– А может, пойти к ней?

– Для чего я пойду? Мы ведь с ней незнакомы! Так, только для виду: «Ах, Вика! Ах, Деби!» Откуда я знаю, что в ней там, в потемках? Другая ментальность, другие привычки... Нет, я не пойду...

Лицо ее, серое, старое, вдруг изменилось. Судорога прошла по нему, и когда она снова взглянула на Любу, то Люба ее не узнала: Виктория стала совсем молодой, сияющей, сильной, взволнованной, вечной. Телефонная трубка в ее руке казалась микрофоном, в который вот-вот хлынет громкая песня.

– Петяня! – сиреною пела Виктория. – Слушай, Петяня! Ты должен спасти нас!

– Пошла бы ты, Вика...

– Нет, я не пошла бы! Пойдем мы все вместе! И скоро, Петяня! Билеты на завтра. Сейчас же звони ей и сам все справишь!

– Нельзя же так, слушай! – Но голос его был совсем не уверенный.

– Нельзя по-другому, – обрубил Виктория. – Ты знаешь, Петяня, в какой мы все жопе? И бросила трубку. Как будто гранату.

* * *

За завтраком все встретились как ни в чем не бывало. О буре вчерашней никто и не вспомнил. Снимали в Нью-Йорке, удачно и много, все время смеялись. Наткнулись случайно на двух африканцев. Один был разболтанным, как на шарнирах, в большом колпаке на лиловых косицах.

– Иисус был с Гаити! – кричал он гортанно. – Они все наврали! Он был гаитянином, мы это знаем!

– Вот это монтаж! – с трудом перекрикивала его Виктория. – Вот это находка! Берем мы его, а навстречу – церквушку! И в ней – чтоб икона! Христа вместе с Мамой! Простую церквушку с Двины или с Волги! И мысль такая: все люди едины!

– Ну, Вика, ты гений! – захохотал Петр, обхватив Деби за плечо правой рукой, прижавшись к ней дружески-крепко и нежно. – Конечно, едины! На то мы и люди!

В четверг, уже перед отъездом в Бостон, Деби вдруг обратила внимание, что у молоденьких ассистенток Виктории, Наташи и Леночки, зубы... не очень...

– И как они замуж? – спросила она у Виктории. – Им все так вот важно.

– Да, Господи, зубы! – вздохнула Виктория. – В зубах нет проблем, есть проблемы другие!

– Но нада лычит их, – решила Деби. – У доктора Мая.

Зеленовато-смуглый доктор Май, у которого китайский акцент был почти незаметным, а пальцы, как змейки, во ртах пациентов творили свое волшебство и искусство, увидевши зубы Наташи и Лены, был очень расстроен.

– Большая работа, – сказал доктор Май озабоченной Деби. – И деньги большие. И я сожалею.

– Что? Очень большие?

– Да, тысяч так восемь...

– За каждую?

– Нет, ну зачем? За обеих.

Виктория, почти каждую ночь звонившая в Москву близнецу Изабелле, позвонила и после визита их к доктору Маю.

– Не спрашивай, Белла! Опять новый ужас. Зубной! Лечит зубы. Наталье и Ленке. За темные тыщи.

– Зачем?

– Я не знаю. От придури вечной. Сказала китайцу: «Заплатим. Лечите». И все. Теперь лечат!

– Она что, больная?

– Не знаю.

– Послушай! А как у них с этим?

– Прошу тебя и заклинаю, – ледяным тоном произнесла Виктория. – Об этом не надо. Здесь речь о страданиях. О муках здесь речь. И о смерти. Да, смерти.

Беда в том, что, увлекшись разговором с сестрой, пылкая Виктория почему-то вспомнила о смерти, хотя ничего ее не предвещало и солнце в Бостоне светило, как летом. Последняя неделя (и то дополнительная, из-за лечения!) уже подходила к концу. Конечно же, Деби ждала, что он скажет: «Когда мы увидимся?»

Петр молчал. Тогда, отчаявшись, Деби обратилась к невозмутимому Ричарду:

– Ты так знаешь русских! Ты их разгадал! Спроси у него, что он думает делать.

При всем своем уме Ричард был падок на похвалу, особенно если касалось России. Перед последними съемками он подошел к Петру, похлопал его по плечу и сказал:

– А вот, может быть, вечером и дэрабнэм?

– А что? И дерябнем! – сказал ему Петр.

Дерябнули. Съели по скользкой маслинке.

– Старик! Тебе сколько? Полтинник-то стукнул?

– Полтинник и пять, – сознался польщенный Ричард. – И даже вот шест будет скоро.

– И как? Старость чуешь?

– Пока ешо нет, – испугался Ричард. – А ты разве чуешь?

– А хрен его знает! Тоска, что ли, тут. – И Петр ткнул в грудь и в живот ниже сердца. – А может, кишки... Я и не разберу. А ночью, бывает, проснусь: тянет, тянет...

– И все-таки жутко?

– Ага. – Лицо у Петра стало темным, сердитым. – А ну как помру? И к червям, на закуску?

С одной стороны, то, что разговор сразу принял такой вот карамазовский поворот, Ричарду, специалисту по русской литературе, весьма даже льстило. Это доказывало правоту

того утверждения, что он – русским друг и ему доверяют. С другой стороны, он все-таки не ожидал подобного поворота и привык думать, что на такие темы можно разговаривать исключительно в рамках культуры. О смерти успели подумать другие. Такие, как Данте, Шекспир, скажем, Фолкнер. Из русских, конечно, Толстой, Достоевский. Но так вот сидеть и вдвоем о ней думать? За рюмкой и в баре? Да стоит ли, право?

– Зачем же к червьям? – погрустнел Ричард. – И к тому же так скоро? А лучше вот так, как вот у самураев.

– А что самураи?

– А вот самураи! Они утром встанут и вспомнят про смерти. И так каждый день. Это вот как зарьядка. И вот: им не страшно.

– А, умные черти! – согласился Петр. – Глазенки косые, а все понимают...

Про Деби не вспомнили, не получилось.

* * *

В пятницу останкинская команда улетела в Москву. Дожди зарядили, как будто дорвавшись – до леса, до луга, до крыш и до окон. Они так стучали, шумели, так темен стал мир под дождями, что птицы замолкли. Остались лишь чайки и стали метаться: где рыба? Где рыба? О, голодно! Страшно!

Деби чувствовала, что ей среди чаек, одной, с этим небом, уютней всего. Она стала подолгу бродить по берегу в тяжелом матросском плаще с капюшоном, большими шагами, и думала, думала. Сейчас нужно было дожидаться звонка. Понять: ждут ее там, в Москве? Когда ждут? Или лучше не ехать? Оставить как есть? При одной этой мысли кровь закипала, и все дурное, мстительное, все, что она пыталась подавить в себе, выросло из нее так, как из спокойного океана вдруг – р-р-раз, вы смотрите! – волна за волною.

Виктория ей не звонила. Ричард зарылся в свои дела, собирал материалы к новой книге «Такой тихий Троицкий», к телефону не подходил. Люба Баранович была занята на работе, к тому же еще двое детей, муж и мама. Но именно Любе-то и позвонила наконец жалкая, убитая горем Виктория Львовна.

– Ой, Любочка! Ужас! Петяня в больнице. Как гром среди ясного. Не ожидали. Сидел себе дома, смотрел телевизор. Вдруг дикие боли с заходом в лопатку. Доставили в «Скорую». Изя поехал немедленно, сам, все устроил. Мы глаз не смыкаем. Все хуже и хуже. Как Деби-то скажем? Что делать-то, Люба?

– Вы, Вика, о съемках?

– Не только о съемках! Ведь если, – не дай нам! – ведь если он, Люба...

– Так я расскажу ей. Сама пусть решает.

Услышав, что Петр в больнице и плохо, конечно же, Деби сказала, что едет. Летит на Swiss Air. Немедленно, завтра.

– А я бы не стала, – заметила Люба.

– Что значит: не стала? А что же мне делать?

– Тебе? Только ждать. Что еще можно сделать? Там Ольга, наверное, в больнице, неловко...

– Ах, Ольга! – Она заскрипела зубами. – Конечно же, Ольга! А я кто? Приеду. Жена из Таиланда? Зачем я нужна? Там законная! Ольга!

Такая ненависть была в ее лице, столько гнева, сквозь который пыталось наружу пробиться несчастье, к которому Деби была не готова, что Люба решила молчать: пусть, как хочет.

* * *

В Москве было скверно. Дождь, снег, грязь и темень. Когда же Петра сквозь огни с чернотой помчали в больницу, и он, весь в поту, задыхался от боли, и парень, медбрат, от которого пахло то йодом, то спиртом, а то сигаретой, сказал тихо Ольге: «Садитесь в кабину», и Ольга, в халате, в накинутаой шубе, белее, чем снег, села рядом с шофером, – одна только мысль уколола, успела: «Не зря я тогда про стакан-то с водой...»

В пять часов вечера Ольга подловила в больничном коридоре врача. Он только закончил обход.

- У мужа всегда были камни.
- Где камни?
- Он мне говорил: камни в почках.
- При чем здесь, что в почках?
- А это другое?
- Боюсь, что другое. Пока мы не знаем.
- Другое? – осипшим шепотом переспросила она.
- Ведь я же сказал: мы пока что не знаем!

И доктор, раздраженно возвысивший голос, хотел захлопнуть за собой дверь ординаторской. Ольга ухватила его за рукав зеленого халата:

- Послушайте! Что это?
- Рак, вот что это, – буркнул доктор. – По первым анализам и по симптомам.
- О, Господи! Рак! Да откуда же? Разве... – Она вдруг заплакала и пошатнулась.
- Вот плакать не стоит, – угрюмо пробормотал доктор. – Вам сил так не хватит. А силы нужны. Для него. Нужны силы.

Через неделю Петра собрались выписывать.

- Спасибо болей нет, – сказал тот же доктор. – Ремиссия. Будут! Тогда только морфий.

Но это недолго.

- Но он же так верит, что с ним все в порядке, что эти уколы...

Доктор потрепал ее по руке:

- Они все так верят, такая защита. Родные-то есть? Кроме вас? Мать там, дети?
- Нет, мать умерла. И детей тоже нет.
- Вы, значит, одна? Ну, держитесь.

Накануне выписки в больницу приехала Виктория, внесла с собой облако снежного воздуха и начала доставать из большой своей сумки кульки и пакеты.

– Теперь тебе надо разумно питаться. Теперь не до шуток. Ведь что мы едим? Мы едим тихий ужас! Что яйца, что куры – одни химикаты! А эта свинина, баранина эта! Их в рот нельзя взять. Лучше б просто гуляли! Паслись бы себе на приволье, чем есть их! Травиться, и все! Ни уму и ни сердцу! Сегодня пошла я на рынок. Со списком. И вот принесла. Понемножку, но прелесть! Разумно, спокойно, без гонки. Со списком. Смотри: вот яичко. Какое яичко? Ты думаешь: просто? Яичко, и все тут? А это: ЯИЧКО! Свежей не бывает! Берешь его в руки и внутренность видишь. И есть его можно – тебя не обманут. А это вот творог. Крупинка к крупинке! Смотрю, продает его женщина. Руки! Буквально Джоконда! Все чисто, все с мылом! А то вот на днях покупаю картошку. Смотрю: она писает! Баба-то эта! Картошку мне взвесила и пис-пис-пис! Дает, значит, сдачу, сама: пис-пис-пис! Ну как же так можно? В рабочее место!

Петр криво улыбнулся. Виктория выразительно посмотрела на Ольгу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.